

Ю.В. Манн

Кто такие «мертвые души»

1

Когда Гоголь в декабре 1841 года отдал рукопись своей поэмы в цензуру, то на одном из заседаний Московского цензурного комитета произошел весьма знаменательный эпизод.

О нем рассказал впоследствии Гоголь в письме к поэту и историку литературы П. А. Плетневу.

«Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название: Мертвые души, закричал голосом древнего римлянина: — Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертия. В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензора, что мертвые значит ревижские души, произошла еще бóльшая кутерьма. — Нет, закричал председатель и за ним половина цензоров. Этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа — уж этого нельзя позволить; это значит против крепостного права. Наконец сам Снегирев¹, увидев, что дело зашло уже очень далеко, стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков нет... что здесь совершенно о другом речь, что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупщика и на всеобщей ералаше, которую произвела такая странная покупка...

“Предприятие Чичикова, — стали кричать все, — есть уже уголовное преступление”. “Да впрочем и автор не оправдывает его”, — заметил мой цензор. “Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души”. Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, т. е. людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. “Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с половиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого, хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя душа, душа человеческая, она жила, существовала...”»

Высказав подобные опасения, цензоры не пропустили «Мертвые души» к печати.

Гоголь поспешил забрать рукопись из Московского цензурного комитета и передал ее направлявшемуся в Петербург Белинскому. В Петербурге с помощью друзей Гоголя — П.А. Плетнева, В.Ф. Одоевского и других — удалось добиться сравнительно быстрого прохождения рукописи через цензуру. Весной 1842 года поэма вышла в свет.

Но мы не будем сейчас подробно проследживать путь гоголевской рукописи. Нас интересует лишь описанный выше эпизод, который произошел в самом начале этого пути, на заседании Московского цензурного комитета.

В сущности, это была первая реакция на гоголевскую поэму официальных лиц, царских цензоров.

И реакция очень показательная.

Гоголь имел все основания издеваться над тупыми и чванливыми цензорами. Но те, в свою очередь, имели полное основание встревожиться и испугаться гоголевской поэмы.

Самое интересное, что ни председатель комитета Голохвастов, ни другие цензоры (за исключением Снегирева) полностью поэмы не читали. Они судили лишь по двум-трем случайно выхваченным местам, а больше всего по названию — такому странному, непривычному: «Мертвые души»...

¹ И.М. Снегирев — московский цензор. Гоголь первоначально передал ему рукопись с просьбой прочитать и высказать свое мнение: пропустит ли поэму цензурный комитет.

То им казалось, что это высмеивание религиозных догматов, христианских представлений, согласно которым душа бессмертна. То им представлялось, что это протест против крепостного права. То они склонны были видеть в поэме подрыв моральных устоев общества — восхваление того уголовного преступления, в которое вовлекся Чичиков...

В этих опасениях правда смешивалась с ложью, реальность с домыслом. Ничего, например, не было более чуждого гоголевскому замыслу, чем смехотворное предположение, будто бы поэма восхваляет чичиковскую аферу. Но недаром говорят: у страха глаза велики.

Словом, обсуждение поэмы в Московском цензурном комитете показало, насколько царские чиновники были напуганы, сбиты с толку уже самой формулой: *мертвые души*.

2

Постараемся же понять, что она в действительности означает.

У этого выражения есть, прежде всего, вполне конкретный и исторический смысл.

В крепостной России с начала XVIII века проводились регулярные переписи крестьян для взимания налога с помещиков, владельцев крестьян. Составленные при ревизии списки назывались *ревизскими сказками*, а занесенные в них крестьяне — *ревизскими душами*. По этому списку помещики и уплачивали налог в казну за своих крепостных крестьян.

Ревизские сказки составлялись раз в несколько лет, и умершие за это время крестьяне продолжали числиться живыми до новой переписи. И за них надо было платить налог как за живых.

Значит, первичный смысл выражения «мертвые души» таков: это умершие крестьяне, еще числящиеся в ревизской сказке. Это ревизские души, еще не исключенные из списка.

Без такого вполне конкретного значения был бы невозможен сюжет поэмы. Ведь «странное предприятие» Чичикова в том и состоит, что он «покупает» умерших крестьян, числившихся живыми в ревизских сказках. И что юридически, это осуществимо: достаточно лишь составить список крестьян и оформить куплю-продажу соответствующим образом, как будто предметом сделки являются живые люди.

Такой смысл выражения «мертвые души» был во времена Гоголя очень злободневным.

При обсуждении поэмы в Московском цензурном комитете сочувствовавший Гоголю цензор Снегирев заявил, что она совершенно безопасна, что в ней «о крепостном праве и намеков нет». Снегирев, по словам Гоголя, прибавил, что в «Мертвых душах» «даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям...» Это так, да и не так.

Ко времени появления «Мертвых душ» русская литература знала уже немало произведений, в которых обличалось крепостное право — «рабство дикое» (Пушкин): «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Путешествие критики» забытого ныне писателя-просветителя С. Фон Ферельцта, «Деревня» Пушкина, агитационные песни поэтов-декабристов...

Когда 3 мая 1783 года Екатерина II издала указ о введении крепостного права в Киевском, Черниговском и Новгород-Северском наместничестве, то нашелся человек, который не побоялся бросить в лицо всемогущей императрице гневное обвинение. Это был земляк Гоголя, в ту пору молодой поэт Василий Васильевич Капнист. Он писал:

Куда ни обращу зеницу,
Омытую потоком слез,
Везде, как скорбную вдовицу,
Я зрю мою отчизну днесь:
Исчезли сельские утехи,

Игрива резвость, пляски, смехи;
Веселых парней глас утих;
Златые нивы сиротеют;
Поля, леса, луга пустеют;
Как туча, скорбь легла на них.

Настроение, пронизывающее эти стихи, можно почувствовать сразу и определить безошибочно: это негодование, скорбь, протест. Цель, в которую метит поэт, видна отчетливо: это крепостное право, закабаление крестьян, рабство (стихотворение так и озаглавлено — «Ода на рабство»).

У Гоголя в его поэме всё сложнее.

Конечно, Снегирев был не совсем точен, говоря, что в «Мертвых душах» даже не раздаются обыкновенных «оплеух» крестьянам (возможно, он заявил это и не без хитрости, чтобы поэма прошла через цензуру). Оплеух, может быть, и нет. Но есть отплясывающие по осенней изморози босиком крестьяне Плюшкина. Есть бесконечно забытые крепостничеством тупые, неразвитые крестьяне вроде дяди Митяя и дяди Миняя. Есть большое количество беглых, не выдержавших крепостного ярма.

Правда, в поэме Гоголя мы не встретим прямых обвинений, инвектив против крепостного права, высказываемых от лица автора или повествователя, — таких инвектив, которые содержатся в «Оде на рабство» Капниста или в «Деревне» Пушкина. Но было бы неправильно делать отсюда вывод о безобидности гоголевского смеха, о том, что автор поэмы прошел мимо главного зла своего времени — крепостного права.

В одной из агитационных песен, сочиненных К.Ф. Рылеевым совместно с А.А. Бестужевым, говорилось:

Долго ль русский народ
Будет рухлядью госпрд,
И людьми,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?

Гоголь в «Мертвых душах» прямо не задает подобных гневных вопросов. Но он вочию показывает, что в России властвует закон купли-продажи живого товара и что такое положение считается естественным и нормальным.

Следовательно, сама фактическая основа поэмы обладала огромной взрывчатой силой. Уже одно то, что Чичиков ведет с помещиками бесконечные торги о крестьянах, затрагивало самый болезненный нерв общественной жизни крепостной России. Уже сама интрига поэмы, построенная на продаже ревизских душ, была социальной и обличительной, как бы ни казался повествовательный тон поэмы безобидным и далеким от обличения.

Правда, тут можно вспомнить (вместе с некоторыми первыми читателями поэмы), что Чичиков живых людей не покупает, что предмет его сделки — крестьяне умершие. Однако здесь-то и видна вся глубина гоголевской иронии. Чичиков скупает мертвых совершенно таким же образом, как если бы он скупал живых крестьян — по тем же правилам, с соблюдением тех же формальных и юридических норм. Только цену при этом Чичиков рассчитывает дать значительно меньшую — ну как бы за товар более низкого качества, залежалый или подпорченный.

«Мертвые души» — эта емкая гоголевская формула начинает светиться своим глубоким, меняющимся смыслом. То это условное обозначение умершего, словосочетание, за которым нет никакого лица. То эта формула оживает — и за нею встают реальные крестьяне, конкретные люди, которых помещик властен продать и купить.

Послушаем те толки, которые возбудили в губернском городе покупки Чичикова.

«Покупки Чичикова сделались предметом разговоров в городе. Пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. “Конечно, — говорили иные, — это так, против этого и спору нет:

земли в южных губерниях, точно, хороши и плодородны; но каково будет крестьянам Чичикова без воды? реки ведь нет никакой”. — “Это бы еще ничего, что нет воды, это бы ничего, Степан Дмитриевич, но переселение-то ненадежная вещь. Дело известное, что мужик: на новой земле, да заняться еще хлебопашеством, да ничего у него нет, ни избы, ни двора, убежит, как дважды два, навострит так лыжи, что и следа не отыщешь”. — “Нет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русской человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки и пошел рубить себе новую избу”. — “Но, Иван Григорьевич, ты упустил из виду важное дело: ты не спросил, каков еще мужик у Чичикова. Позабыл ты, что ведь хорошего человека не продаст помещик; я готов голову положить, если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения”».

Следя за этим оживленным обменом мнениями, мы хорошо помним, что у Чичикова нет не только «пьяницы» или «праздношатайки», но что он вообще не приобрел ни одного реального мужика. Разговор этот выглядит комичным, поскольку он воспринимается на фоне действительных покупок Чичикова. Но острота гоголевского комизма еще сильнее, так как собеседники настолько близко к сердцу принимают дело о переселении крестьян, высказывают столь конкретные предположения об их качествах и душевных свойствах, об их будущей судьбе, что предмет этого разговора начинает казаться вполне реальным. Да он и был таковым, купи Чичиков настоящих крестьян.

После этого нам не покажется странным, что один из цензоров, выступавших против напечатания поэмы, счел неудобным низкую цену — «два с полтиною», — предлагаемую Чичиковым за мертвую душу. Уж большим человеколюбом в его глазах должен был быть Собакевич: тот, по крайней мере, затребовал по сту рублей за душу!

Цензор, конечно, знал, что Чичиков назначает цену за одно только имя умершего человека. Но все же... «все же это имя душа, душа человеческая, она жила, существовала».

Не так ли и Собакевич с укоризной пенял Чичикову: «Право, у вас душа человеческая все равно, что пареная репа. Уж хоть по три рубля дайте!»

Разумеется, Собакевич в этих рассуждениях был далек от соображений гуманности. Он просто не мог отделаться от ощущения, что продает живой товар — аберрация, под которую невольно подпал и гоголевский цензор.

Так на наших глазах меняется значение формулы «мертвые души». То это «одно только имя», только условный знак несуществующего человека. То это «душа человеческая», реальный человек — и кощунственным выглядит обхождение с нею как с несуществующей, мертвой душой.

Многозначность смысла запрятана уже в самом гоголевском словосочетании. Если бы Гоголь хотел подчеркнуть только одно-единственное, конкретное значение, то он скорее всего взял бы выражение «ревизская душа». Но писатель намеренно вынес в название поэмы словосочетание необычное, смелое, не встречавшееся (или встречавшееся очень редко) в обиходной речи, — словосочетание, поразившее слух современников. «“Мертвые души”, — это заглавие само носит в себе что-то, наводящее ужас», — писал Герцен.

3

Далее Герцен говорит: «...Не ревизские — мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и *tutti quanti*¹ — вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу». Герценовский комментарий открывает еще одну грань понятия «мертвые души».

В этом своем значении выражение «мертвые души» обращено уже не к крестьянам — живым и умершим, — а к хозяевам жизни, помещикам и чиновникам. Й смысл его метафорический, переносный.

¹ Все прочие.

Ведь физически, материально «все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti» существуют и в большинстве своем процветают. Что может быть несомненное, чем медведеподобный Собакевич или Ноздрев, о котором сказано: «свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его».

Но физическое бытие еще не есть человеческая жизнь. Растительное существование далеко от настоящих духовных движений.

«Мертвые души» обозначают в данном случае мертвенность, бездуховность.

А проявляется эта бездуховность по крайней мере двояко.

Прежде всего, бездуховность — это вообще отсутствие сколько-нибудь ярких интересов, страстей.

Помните, что говорится о Манилове?

«От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтись на гулянье с флигель-адъютантом... шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков,— словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было».

Большинство из описанных здесь увлечений или страстей не назовешь высокими или благородными. Но у Манилова не было и такой страсти. У него вообще ничего не было своего. И главное впечатление, которое производил Манилов на собеседника — это ощущение неопределенности и «скуки смертельной».

В этом смысле Манилов — крайнее выражение мертвенности, бесстрастия (но не безобразности в художественном смысле этого слова; наоборот — заметим мимоходом, — сила Гоголя в том, что он умеет воплотить в художественный тип, сделать рельефной саму неопределенность и бесхарактерность).

Другие персонажи — помещики и чиновники — далеко не так бесстрастны. Например, в Ноздреве можно найти сразу несколько из тех «задоров», которые упомянуты выше: Ноздрев и любитель собак, и охотник заломить угол бубновому тузу или двойке, и скандалист, не останавливающийся перед рукоприкладством... Разве что признаков меломании, охоты толковать о «глубоких местах» музыкальных произведений в Ноздреве не заметишь.

Есть своя страсть и у Плюшкина — разрушительная страсть скопидомства и скупости. Есть свой задор — задор «приобретательства» у Чичикова, заставляющий его переезжать из одного города в другой, браться за выполнение одного «проекта» за другим. И у многих других персонажей есть свой «задирающий предмет», приводивший в движение самые разнообразные страсти: алчность, честолюбие, любопытство и т. д.

Значит, в этом отношении «мертвые души» мертвенны по-разному: в разной степени и, так сказать, в различных дозах.

Но в другом отношении они мертвенны одинаково, без различия меры и без исключений.

«Где интересы общие, живые, в которых живут все вокруг нас дышащие мертвые души? — спрашивал Герцен.— Не все ли мы после юности, так или иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев?.. Один деятельный человек — Чичиков, и тот ограниченный плут. Зачем он не встретил нравственного помещика, *добросердца, стародума*... Да откуда попался бы в этот омут человек столько абнормальный, и как он мог бы быть типом?..»

Здесь гоголевские персонажи поставлены уже перед высшими нравственными критериями, такими, как ревность к общественному благу, к справедливости, забота о ближ-

нем. И, с точки зрения этих критериев, энергичный Чичиков ничем не лучше прозябающего в бездействии Манилова: ведь его деятельность своекорыстна и противоречит высоким идеалам нравственности и человечности. И таковы все персонажи поэмы, весь этот «омут» повседневности и прозы, в котором пекущиеся о благе добродетельные герои типа фонвизинского Стародума показались бы неестественными, или, как говорит Герцен, «абнормальными».

Понятие «омута» подсказано Герцену гоголевскими словами, а именно знаменитым началом седьмой главы:

«Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своей действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из *великого омута* ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям...»

Как «вершина» — «омуту», как должное — существу, так реальные характеры противостоят «высокому достоинству человека».

Омут — как художественный образ, как сгусток ассоциаций — несет с собой значение беспрестанного движения, но движения по кругу, бесцельного, несвободного, производимого внешней тупой силой. «...Великий омут ежедневно вращающихся образов» — это замечательный образ вседневной жизни: бесцельного мельтешения, призрачной деятельности, которыми отмечено существование «мертвых душ». И еще одна смысловая ассоциация неуловимо вплетается в этот образ: с человеком происходят непоправимые изменения, его гибель неотвратима. Омут ведь затягивает свою жертву, не давая ей выбраться, выплыть.

Есть у распространенных сравнений, на которые так щедр Гоголь в своей поэме, одна любопытная черта, прямо вытекающая из только что отмеченного значения формулы «мертвые души».

Рассмотрим три таких сравнения.

Вот Собакевич.

«Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке».

Вот фланирующие франты на вечеринке у губернатора.

«Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета... Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки или почесать ими у себя под крылышками...»

Вот лица городских чиновников.

«Надобно сказать, что палатские чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. У иных лица были точно дурно выпеченный хлеб: щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу взнесло пузырем, которая в прибавку к тому еще и треснула...»

Что общего в этих примерах? То, что первый элемент сравнения взят из человеческой жизни, из мира человеческих отношений: фланирующие франты, палатские чиновники. А второй элемент сравнения, служащий для пояснения и характеристики первого, берется из более низких сфер жизни: из мира животных (первый пример), из жизни насекомых (второй пример) или даже из круга неодушевленных предметов (третий

пример). Тем самым определяемое явление нарочито снижается и с высокого уровня духовной, человеческой жизни низводится на уровень бездуховного — животного или физического — существования.

Быть может, нигде так не заметно низведение живого до степени неодушевленного, как в описании глаз гоголевских персонажей. Ведь глаза, по известному выражению,— зеркало души. По глазам мы часто судим о характере литературного героя (как, впрочем, нередко и реального человека). Тончайшие переливы чувств, глубина переживаний, противоречивость и мимолетность настроений — все это фиксируется в выражении глаз.

Помните у Лермонтова глаза Печорина?

«...Они не смеялись, когда он смеялся!.. Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском...»

Или глаза женщины из стихотворения Блока «Сырое лето. Я лежу...» (1907):

Я знаю женщину. В ее душе
 Был сноп огня. В походке — ветер.
 В глазах — два моря скорби и страстей...

А вот вам глаза Плюшкина:

«Маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из пых нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух».

Или глаза Манилова: «голубые», «сладкие как сахар».

В первом случае глаза еще живы, но это скорее не человеческая, а животная одушевленность, близкая рефлекторным движениям испуганного зверька. Во втором же случае глаза определены по вкусовому качеству — как гастрономический продукт.

В характеристиках большинства персонажей поэмы Гоголь вовсе обходится без описания глаз — словно бы излишних на этот случай. Что же касается глаз Собакевича, то упомянуто лишь то орудие, которое употребила природа: «большим сверлом ковырнула глаза». Такая операция, конечно, уместнее не на живом человеческом лице, а на деревянном чурбане-кукле.

Мертвая душа! Это явление кажется противоречивым в самом себе, составленным из исключаяющих друг друга понятий¹. Разве может жить мертвая душа, мертвый человек, то есть то, что по природе своей одушевлено и духовно? Не может жить, не должно существовать. Но существует.

От жизни остается некая форма, от человека — оболочка, которая, однако, исправно отправляет жизненные функции. И тут нам открывается еще одно значение гоголевского образа «мертвые души».

4

Одна из землячек Гоголя Марья Григорьевна Анисимо-Яновская рассказала о таком случае. Он произошел в гоголевские времена с ее дядей Пивинским.

«...У Пивинского было 200 десятин земли и душ 30 крестьян и детей пятеро. Богато жить нельзя, и существовали Пивинские винокурней. Вдруг... начали разъезжать чиновники и собирать сведения о всех, у кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что у кого нет 50 душ крестьян, тот не имеет права курить вино. Задумались тогда мелкопоместные: хоть погибай без винокурни! А Харлампий Петрович Пивинский хлопнул себя по лбу и сказал: “Эге! не додумались!” И поехал он в Полтаву, да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых. А так как своих, даже с мертвыми, далеко до 50 не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по соседям,

¹ Такие художественные тропы, образованные внутренне противоречащими друг другу признаками, называются *оксюморонами*. Напомню некоторые примеры оксюморона: звонкая тишина, горькая радость и т. д.

и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их к себе и, сделавшись по бумагам владельцем 50 душ, до самой смерти курил вино».

Анисимо-Яновская заключает, что эта история дала «тему Гоголю, который бывал у Пивинского, да кроме того, и вся Миргородчина знала про мертвые души». Трудно сейчас сказать, насколько это верно. Возможно, существовали и другие источники сюжета «Мертвых душ» (сам Гоголь говорил, что сюжет подсказан ему Пушкиным). Скорее всего, таких источников было несколько. Но все это в данном случае нам не так важно. Нас интересует известное сходство в самой логике рассказанного землячкой Гоголя жизненного эпизода и сюжета «Мертвых душ».

Такое сходство — налицо.

Существовало некое бюрократическое, формальное установление (в данном случае имущественный ценз на владение винокурней), и некий ловкий помещик (в данном случае Пивинский) вознамерился его обойти — обойти таким же формальным образом. Похоже это на сюжет «Мертвых душ»? В какой-то мере да. Ведь и Чичиков вознамерился извлечь выгоду из самих бюрократических установлений крепостной России — из того факта, что «ревизская душа», отделяясь от реального человека, приобретала самостоятельную прозрачную жизнь, что ее можно было купить, заложить в опекунский совет и т. д.

Не только в крепостном праве проявлялась в дореволюционной России власть обездушенной формы, мертвого параграфа. И в других, подчас будничных сферах жизни обнаруживалась эта власть.

В первой главе «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» происходит такой эпизод. Городничий является к Ивану Ивановичу с жалобой... на свинью, укравшую бумагу из суда. «А я чем виноват?» — спрашивает Иван Иванович. «Но, Иван Иванович, ваше собственное животное, стало быть, вы виноваты», — отвечает городничий и напоминает, что «похитивший в суде казенную бумагу подвергается, наравне со всяким другим преступлением, уголовному суду». — «Так говорится о людях...» — вновь пробует возражать Иван Иванович. Но городничего не собьешь: «Все так, но закон говорит: виновный в похищении... прошу вас прислушаться внимательно: виновный! Здесь не означает ни рода, ни пола, ни звания, стало быть, и животное может быть виновно».

Ивану Ивановичу, скорее всего, удалось бы уладить дело, ведь он человек в городе видный и именитый; но рядовому обывателю пришлось бы худо. Был закон о похищении казенных бумаг в суде? Был. Подходит свинья под этот закон? Подходит. Значит, дело с концом. Но не так ли и Чичиков основал свой план на том, что по закону «мертвая душа» существует на правах живого человека и до определенного момента (до очередной ревизии) как бы обладает реальным бытием?

Можно возразить, что в «повести о ссоре» перед нами художественное преувеличение, так как едва ли нашелся бы такой тупой чиновник, который стал преследовать свинью судебным порядком. Конечно, Гоголь комически сгущал ситуацию, но он при этом мастерски обнажал нелепость действительного правопорядка. Вот еще случай — случай не выдуманный, из жизни.

О нем рассказал Герцен, который в 1830-е годы был выслан в Вятку. В Вятке Герцен служил чиновником.

Однажды при разборе бумаг он наткнулся на папку со странным названием «Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол».

Герцен принялся изучать документы, и выяснилась такая история.

У одного крестьянина родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой. Пьяный священник внес в метрику другое имя — Василий. Отца девочки, превратившейся таким образом в мальчика, не беспокоило это обстоятельство до тех пор, пока не приблизилась очередь рекрутского набора. Нужно было срочно исправить путаницу в документах, и крестьянин обратился к становому.

Дальше Герцен рассказывает:

«Случай этот показался полиции очень мудрен. Она предварительно отказала мужику, говоря, что он пропустил десятилетнюю давность. Мужик пошел к губернатору. Губернатор назначил торжественное освидетельствование этого мальчика женского пола медиком и повивальной бабкой... Тут уж как-то завелась переписка с консисторией, и поп, наследник того, который под хмельком целомудренно не разбирает плотских различий, выступил на сцену, и дело длилось годы и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужского пола».

«Не думайте, что это нелепое предположение сделано мною для шутки; вовсе нет, это совершенно сообразно духу русского самодержавия», — заключает Герцен.

Есть ли у этой истории что-нибудь общее с событиями, описанными в «Мертвых душах»? Конечно: и там и здесь буква приобретает самостоятельное значение, и ее не опровергнешь, не отменишь.

Из этого видно, насколько типичен был сюжет гоголевской поэмы, причем эту типичность нельзя ограничивать случаями спекуляции и аферы с «мертвыми душами» (как, скажем, в истории с Пивинским). Это значило бы очень обеднить произведение, которое выросло из повседневного, будничного, даже бытового материала. Из таких отношений между людьми, где форма преобладала над содержанием, где сооружался целый мир формальных связей, враждебных народным интересам и живой жизни. И в этом еще одна грань понятия «мертвые души», выражающая господство мертвой, обездушенной формы.

Связано ли это значение с тем, которое было рассмотрено выше, — с обозначением человека мертвого духом? Связано и очень крепко.

В набросках к «Мертвым душам» мы находим такие строки:

«Идея города. Возникшая до высшей степени пустота. Пустословие. Сплетни, перешедшие пределы, как все это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени».

В царстве обездушенных людей естественно владычествует Пустота и мертвая форма, — такова, в конечном счете, художественная мысль Гоголя. Мысль, имеющая явную гротескную направленность.

Гоголь любопытным образом подчеркнул эту гротескную мысль. Обложка «Мертвых душ», сделанная по рисунку Гоголя, была выполнена в стиле гротескного орнамента, совмещавшего в причудливом сочетании детали повседневного быта, человеческие головы, черепа, скелеты, что, без сомнения, соответствовало самому гротескному содержанию поэмы и передавало, как говорил Гоголь, «кутерьму, суматоху, сбивчивость»... Интересно также, что гоголевский орнамент явно напоминает древнеримские настенные орнаменты, обнаруженные в конце XV, начале XVI века итальянскими художниками. Эти орнаменты, составленные из причудливых сочетаний растений, человеческих лиц, животных, и дали название такому художественному явлению, как гротеск (термин происходит от слова «грот» — в гротах, в засыпанных землей подземных помещениях были обнаружены названные орнаменты).

5

...Ревизские *мертвые души*, то есть условное обозначение умерших крестьян. Ревизские мертвые души — конкретные, оживающие лица крестьян, с которыми, однако, обходятся так, как будто это не люди. Существователи, мертвые духом — все эти Маниловы и Ноздревы, помещики и чиновники. Мертвая форма, извращенный, обездушенный строй человеческих отношений...

Всё это грани одного гоголевского понятия — «мертвые души», художественно реализованного в его поэме. И грани не изолированные, но составившие единый, бесконечно глубокий, переливающийся образ.

Для удобства анализа мы подчас резко отграничивали одно значение от другого; в действительности же они соединены друг с другом более тонко и неуловимо. Положение здесь такое же, как с различными ликами рассказчика, неуловимо связанными и переходящими один в другой.

Поэтому невозможно передать одной-двумя фразами смысл образа «мертвые души». И невозможно его исчерпать, определить навсегда. Таково свойство большого произведения искусства.

Но хотелось бы все же отметить еще одно значение гоголевского образа, которое строится на прямом контрасте с большинством других его значений. И даже на контрасте с самим словосочетанием «мертвые души».

Герцен писал о гоголевской поэме: «Подобный вопль мог вырваться из груди человека лишь при условии, если в нем еще не все больное и сохранилась громадная сила возрождения. Гоголь чувствовал — и многие другие чувствовали с ним — позади мертвых душ *души живые*».

Следуя за своим героем, Чичиковым, переезжая из одного места в другое, писатель не оставляет надежды найти таких людей, которые бы несли в себе начало жизни и возрождения. Цели, которые ставят перед собою Гоголь и его герой, в этом отношении прямо противоположны. Чичикова интересуют мертвые души в прямом и переносном смысле этого слова — ревизские мертвые души и люди, мертвые духом. А Гоголь ищет живую душу, в которой горит искра человечности и справедливости.

Герцен точно определил то реальное место, которое занимает в поэме начало жизни: «*позади мертвых душ*».

За корою бездуховности, черствости, мертвечины бьются живые силы народной жизни — и то там, то здесь пробиваются на поверхность.

Помните, что говорится о русском слове? «...Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца...» Это — живое, неотвердевшее, одухотворенное слово.

Как описывается веселье бурлаков? «...Гуляет шумно и весело на хлебной пристани... Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага...» Это — живое, нескованное, искреннее веселье.

Что говорится о движении тройки-Руси? «...Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле...» Это — живое, стремительное, неуправляемое движение, залог будущего возрождения родины.

Но Гоголю мало было упований на будущее. Мало было мощных движений жизни за фасадом империи «мертвых душ». Ему хотелось показать, как эта жизнь выходит на передний план. Отсюда еще одно значение гоголевского образа: возрождение мертвой души, превращение ее в душу живую. Отсюда обещания таких добродетельных героев, перед которыми «мертвыми покажутся... все добродетельные люди других племен, как мертвая книга пред живым словом!»